



Оксана Тимофеева

ТОПОТ КОТОВ

Published 10 May 2013

Original in **Russian**

First published in **New Literary Observer 119 (2013) (Russian version); Eurozine (English version)**

Downloaded from eurozine.com

(<http://www.eurozine.com/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2/>)

© Оксана Тимофеева / New Literary Observer Eurozine

Эти собаки там нарушали закон.
Франц Кафка

В октябре 2012 года депутаты Законодательного собрания Петербурга об?суждали проект поправок к закону “Об административных правонаруше?ниях”. Речь шла о необходимости “защиты тишины” и введения наказаний (в виде административных штрафов) за несоблюдение таковой в ночное время – за всевозможные шумы, которые могут потревожить соседей. По слухам, сразу же заполонившим российские медиа, среди потенциально под- запретных шумов обсуждались, в частности, громкий храп, громкий секс, стоны, скрип кровати, стук, пение, передвижение холодильников, вой собак и топот котов. Хотя мало что из перечисленного было одобрено и вошло в окончательную формулировку, этот закон получил в народе ироничное на?звание “Закон о запрете топота котов”.

Разумеется, реагируя на насмешки и критику (не только со стороны граж?дан, но и, к примеру, со стороны Общественной палаты РФ, назвавшей этот проект “клоунадой”), питерские депутаты старались, как могли, постфактум оправдать себя, опровергнуть слухи и отрицать тот факт, что они всерьез об?суждали возможность подобных запретов, – но кто поверит институции, представители которой уже зарекомендовали себя такими законотворче?скими инициативами, как, среди прочего, запрет на изображение радуги (ко?торая, будучи



символом движения ЛГБТ, представляет собой “пропаганду гомосексуализма”) или запрет на пропаганду конца света?

Разрастание области запретов в современной России, очевидно, не знает пределов, и ничто уже не может удивить – а вернее, все в равной степени не перестает удивлять, ибо такова логика абсурда, что ее нельзя предсказать: она всегда оказывается на шаг впереди самых изобретательных сценариев возможного. Так или иначе, где-то едва слышно протопавшие кошачьи лапы оставили следы на букве закона, топот котов навсегда привязался к нему, сделав эту логику очевидной.

В качестве своего рода эксперимента я предлагаю на короткое время мысленно погрузиться в причудливую область абсурда и попытаться представить себе, будто депутаты Петербурга действительно принимают закон, запрещающий котам топтать. Прежде всего, следует выделить три пропозиции, которые на первый взгляд кажутся достаточно рациональными возражениями против самой идеи этого запрета:

1. Коты не топают.
2. Коты не знают, что топтать запрещено.
3. Котам все равно, запрещено ли им топтать или разрешено.

Эти три пропозиции представляют дело, если угодно, в кошачьей перспективе и обнажают фундаментальное несоответствие, радикальную асимметрию между запретом и теми, на кого он распространяется. Однако, если, помимо самих котов, мы примем во внимание еще и других участников ситуации, а именно депутатов, и включим их в нашу схему, мы сможем перейти на новый, более сложный уровень анализа и рассмотреть эти три пропозиции в трех соответствующих регистрах, каждый из которых предполагает определенную диспозицию власти в отношениях между котами и депутатами. В каждом из этих регистров коты (те, на кого распространяется запрет) представляют некую негативную форму отношения к закону, тогда как для депутатов (инстанции запрета) сама эта негативная форма становится условием возможности и ложится в основу закона.

Первая пропозиция – *коты не топают* – относится к регистру природы,



которая как будто бы противоречит букве закона (в семействе кошачьих как таковом не принято топтать: коты, скорее, ступают бесшумно, как бы едва касаясь поверхности мягкими подушечками лап, – это у них в природе). Давайте посмотрим, насколько продуктивным может быть это противоречие.

Прежде всего, с точки зрения депутатов, можно было бы сказать, что коты не *топают именно потому*, что это запрещено. В таком случае мы имеем дело с *ретроспективной силой* запретительного закона, – закона, задним числом устанавливающего себя в качестве вечного и изначального. Закон о запрете топота предшествует самому феномену топота: он запрещен не потому, что когда-то в прошлом коты слишком громко и много топали, нет – они никогда не топали, потому что топтать всегда уже было запрещено, закон всегда уже существовал до всякого топота – вначале, вероятно, в качестве закона природы, а теперь, в дополнение к нему, в качестве юридического закона.

Однако в таком случае сразу же заявляет о себе вторая опция: отныне и впредь коты топают, они могут топтать *именно потому*, что это запрещено. Теперь они могут топтать вопреки закону, даже если раньше никогда этого не делали, и их топот будет называться трансгрессией. Если вспомнить рассуждения Жоржа Батая, запрет вводится как условие возможности его же нарушения, преступления – запрет и трансгрессия взаимно обуславливают друг друга. [1] Так проявляется уже не ретроспективная сила, а, скорее, *ретроспективная слабость* запретительного закона, который порождает и провоцирует само запрещаемое им деяние. Иными словами, закон создает феномен, давая ему имя.

Отсюда следует третья опция, которую можно описать в терминах *презумпции вины*. И теперь уже *именно потому*, что это запрещено, все коты топают, даже если это не очевидно и даже если это невозможно доказать. Ведь все дело в том, что сами коты *не могут доказать обратного!* Вот почему – думает депутат – на самом деле они таки топают. Подобный механизм действия закона был широко описан в контексте исследований функционирования так называемого тоталитарного государства: так, при сталинском режиме в СССР граждане, обвиняемые в том, что они, к примеру, английские шпионы, вынуждены были в конечном счете признавать себя английскими шпионами – так как они не могли доказать обратного; и если даже они



упорствовали и не признавали себя английскими шпионами, их все равно наказывали.

В такой ипостаси закон граничит с невозможным, и на этой границе рождается идеальное преступление – преступление, в котором можно обвинить каждого, абсолютное преступное деяние, которое никем не может быть совершено в принципе, но вину за совершение которого невозможно опровергнуть. В перспективе презумпции вины все коты потенциально топают, и это нарушение нельзя предотвратить, даже если хозяева котов приобретут для них специальные миниатюрные тапочки, мягкое трение которых о ковер станет звуком самой тишины. Ни старание котов ступать бесшумно, ни их (или их владельцев) потенциальное несогласие с фактом, что они слишком громко топают, уже не смогут быть приняты в расчет с того момента, как они попадут в поле зрения тоталитарной машины, или машины абсолютной власти, которая вначале натурализует и увековечивает закон, затем создает из его буквы само преступление и, наконец, применяет его к любому в соответствии со своим произволом.

Другая крайность такого закона – запретить не что-то невозможное, а, наоборот, что-то естественное, банальное и простое, и даже то, без чего никто не может обходиться. Например, можно запретить дышать (спать, летать во сне, пить вино или, как вариант, гулять по бульварам). Конечно, мы все будем продолжать дышать, но при каждом нашем вздохе мы будем помнить, что власть, утверждающая закон, бесконечно милостива и готова закрывать глаза на наши мелкие проступки до тех пор, пока мы демонстрируем ей нашу лояльность. Через *всеобщий запрет* вводится таким образом *всеобщая взаимная коррупция*: все знают, как обойти закон, но санкция тем не менее может быть применена в любой момент – все ходят “под топором” (типичный пример подобного рода запрета на банальное – “сухой закон”).

Вторая пропозиция – *коты не знают, что топтать запрещено* (или, как вариант, коты не знают, топают они или не топают), – переносит нас в регистр знания. В моральной и практической философии бытует традиционное мнение, что никто не делает зла по своей воле: благоразумие живых существ в том, чтобы стремиться к благу. Те, кто совершает проступки, делают это просто потому, что не понимают, в чем состоит их благо, они недостаточно разумны, не ведают добра и



зла или же не знают закона. Можно предположить, что знание высшего блага доступно немногим и эти немногие, очевидно, являются законодателями или правителями: как считал уже Аристотель, иерархическое устройство государства соответствует самой природе человека, душа которого господствует над телом, а разум – над чувствами. Животным же, поскольку они неразумны, “предпочтительнее находиться в подчинении у человека: так они приобщаются к своему благу”. [2]

Конечно, коты не знают закона. В таком случае первой опцией для них будет соблюдение закона, которого они не знают (они соблюдают его до тех пор, пока не топают), – бессознательное следование букве закона. Следование неизвестному закону может быть, однако, довольно болезненным – на это указывает Кафка в своей небольшой притче “К вопросу о законах”, говоря устами скромного безымянного персонажа, то ли животного, то ли человека:

Наши законы известны не всем, они являются тайной маленькой группы аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены в том, что эти древние законы строго соблюдаются, и тем не менее есть в этом что-то в высшей степени мучительное, когда над тобой властвуют по законам, которых ты не знаешь. [3]

Однако постольку, поскольку закон существует, они уже могут и нарушить его, сами того не зная, – такая возможность возвращает нас ко второй опции (закон указывает путь к трансгрессии), но теперь мы имеем дело с *трансгрессией вслепую*: закон все так же дает имя преступлению, но преступник всегда остается в неведении относительно как закона, так и совершаемого преступления.

Будучи неизвестным, запрет, однако, не теряет силы закона. Третья опция здесь может быть, следовательно, выражена всеобщей формулой “Незнание закона не освобождает от ответственности”. Кот не знает, но зато депутат знает! Компетенция депутата абсолютным образом превосходит компетенцию кота, и весь спектр возможных применений депутатского знания остается для кота скрытым и непрозрачным. Эта опция открывает большие перспективы для “тоталитарной” диспозиции, особенно если закон уже предполагает секретность, а тем более если запрещено даже знать, что что-то



запрещено и что именно запрещено (об этом, в частности, рассуждает Славой Жижек на примерах современного Китая и социалистической Югославии). [4]

Третья пропозиция – *котам все равно, запрещено ли им топтать или разрешено*, – вводит регистр *наслаждения*. Коты могут соблюдать закон, совершенно об этом не заботясь, как бы невзначай (опция 1), могут открыто попи?рать закон, демонстрируя свое безразличие и неуважение к нему, как бы назло (опция 2), но в конечном итоге неизбежно попадают под юрисдикцию всеобщего запрета на наслаждение (опция 3).

Конечно, этот третий регистр тесно связан со вторым – коты не знают, и поэтому им все равно. Им *безразлично*, от них ускользает само различие между разрешенным и запрещенным. Так, Жорж Батай пытался осмыслить границу между человеком и животным на основании отношения к запрету и утверждал, что, в то время как люди наполняют свою жизнь бесчисленными ограниче?ниями, правилами, законами, ритуалами и, конечно, запретами, для животных закон не писан, они – вне закона и только наслаждаются своей неограничен?ной свободой (в том числе сексуальной: вслед за Леви-Строссом Батай при?давал особое значение запрету на инцест как универсальному предписанию, с которого, можно сказать, и начинается человеческое общество): “Если и есть четкое различие между животным и человеком, то прежде всего оно заключа?ется в следующем: для животного ничего и никогда не запрещено”. [5]

Не важно в данном случае, прав Батай или не прав, существуют ли для жи?вотных запреты или не существуют. Вопрос этот слишком абстрактен, и ответ на него зависит от той или иной конкретной исследовательской задачи. Но что для нас здесь интересно, так это определенная позиция, которую можно охарактеризовать как *зависть* (или ревность) к *наслаждению другого*. [6] В от?ношении человека к животному она, в частности, может проявляться в по-добного рода философских рассуждениях об имманентности и непосред?ственности последнего в естественной среде (рыба, бессмысленно плавающая в воде, или же птица, свободно парящая в воздухе, – то, чего нам, людям, ни?когда не достигнуть без усилий, без цели, без помощи специальных приобре?тенных навыков или технических средств: нам не под силу вот так запросто взять и полететь). Не прячется ли за



такими рассуждениями предположение о странном наслаждении, которое они просто испытывают, не зная о нем, и о котором мы знаем, не испытывая его? [7] Снова процитирую Батая:

Человек, что бы там ни казалось, должен знать, что, когда он говорит о че?ловеческом достоинстве в присутствии животных, он врет как собака. Ибо в присутствии нелегальных и в высшей степени свободных существ (по?истине существ вне закона) тупое чувство практического превосходства от?крывает путь для самой черной зависти. [8]

В самом деле, если говорить о зависти, то она бывает “белая” (как в случае Батая, восхищенного безразличием, беззаботностью и суверенностью зверя) и “черная” (как, смею предположить, в случае депутатов, растревоженных ночным шумом). Что общего между храпом, громким сексом, стонами, скри-пом кровати и топотом котов? Все это звуки, исходящие из комнаты или квартиры по соседству, звуки, исходящие от соседа, *другого, предположи?тельно наслаждающегося*, когда мы отчаянно пытаемся уснуть, расслабиться или сосредоточиться на своем. Другой не дает нам сосредоточиться на своем, он посягает на наше свое – даже не зная об этом или же просто совершенно не заботясь о нашем комфорте.

Что для депутатов невыносимо в котах – так это их предположительно безграничное наслаждение едва уловимым топотом собственных ног, идущее в одном ряду вместе со всеми непристойными звуками, издаваемыми любов?никами за стеной, в том пространстве, откуда мы – или наши депутаты – все?гда уже исключены. В пространстве *наслаждения другого* – который курит, храпит, чавкает, причмокивает, стонет, кричит, дышит, чихает, топает, воет... С одной стороны, это наслаждение всегда *непристойно*, а с другой, оно пред?полагает *исключенную позицию*, занимаемую тем, кто слышит, наблюдает, кто не может это наслаждение разделить и не может терпеть.

Не в такой ли исключенной позиции оказывается еще один персонаж Кафки, от лица которого ведется повествование в “Исследованиях одной со?баки”? Этот персонаж – пес-философ – рассказывает о решающей встрече, произошедшей в его жизни. Однажды, будучи еще щенком, он услышал уди?вительный и всепоглощающий звук – некую



граничащую с тишиной музыку, и увидел семь удивительных собак, от которых исходила эта музыка:

Они не говорили, они не пели, они, в общем, молчали с каким-то почти чу?довищным ожесточением, но из окружавшего их пустого пространства они волшебным образом извлекали музыку. Все рождало музыку – их подни?мавшиеся и опускавшиеся лапы и определенные повороты головы, их бег и их покой, позы, которые они принимали по отношению друг к другу, хо?роводы, в которых они соединялись друг с другом, когда, например, одна опиралась передними лапами на спину другой и они потом выстраивались таким образом, что первая, стоя на двух ногах, несла на себе тяжесть всех остальных... [9]

Что же за танец, так поразивший его, исполняли эти собаки? Вдруг он по?нимает, что их движения – это совершенно недопустимая для собачьего рода ходьба на задних ногах: эти семеро практикуют прямохождение, тем самым нарушая родовой закон:

Во мне поднялось такое возмущение, что я почти забыл про музыку. Эти собаки там преступали закон. Какими бы они ни были великими волшеб?никами, закон распространяется и на них. [...] У них действительно были причины молчать, если допустить, что они молчали из чувства вины. Ведь как они себя вели? – из-за их оглушающей музыки я этого сразу не заме-тил – они же просто отбросили всякий стыд; эти несчастные совершали од?новременное самое смешное и самое непристойное: они ходили прямо, встав на задние ноги! [10]

Очевидно, можно сказать, что сцена с танцующими собаками, представшая перед ним, еще ребенком, – и есть та самая первичная сцена непристойного наслаждения другого (“они выставляли свою наготу напоказ”), открываю?щая ему двери во взрослый мир. Не та ли же ожесточенная музыка слышится по ночам изобретателю законов в вое собак, не тот ли же танец рисуется перед глазами при мысли о топоте котов, которые, возможно, там, за стеной, вдруг встали на задние ноги?



Эти собаки и коты там нарушают сам закон *природы* – как если бы существовал некий естественный запрет наготы, который был бы одновременно и запретом прямохождения и попрание которого бросало бы животное (или человека) к порогу фундаментального болезненного знания (знания о запрете, о добре и зле), а за этим порогом (но всегда по ту сторону) маячило бы *наслаждение*, уже предположительно испытываемое другим (и этот другой – нарушил запрет!). В каком-то смысле, в каждом из нас живет диковинное и вместе с тем очень банальное животное – то, которое всякий раз застревает у врат закона и вечно топчется там, на пороге запрета, между природой, знанием и наслаждением.



Footnotes

1. См., например: Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М.: НЛО, 2009. С. 29-34.
2. Аристотель. Политика. 1254b10 / Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 383.
3. Кафка Ф. К вопросу о законах / Кафка Ф. Малая проза. Драма. СПб.: Амфора, 2001.
4. См. статью С. Жижека в этом номере "НЛО". С. 20-21.
5. Bataille Georges. Lascaux, or the Birth of Art. Skira, 1955. P. 31.
6. О связи запрета и зависти к наслаждению другого см., например: Жижек С. Возлюби мертвого ближнего своего // Художественный журнал. 2001. No. 40 (<http://www.guelman.ru/xz/362/xx40/xx4016.htm>), и др.
7. См. об этом в моей книге: Timofeeva O. *History of Animals: An Essay on Negativity, Immanence and Freedom*. Maastricht: Jan van Eyck Academy, 2012. P. 12-13.
8. Bataille Georges. *Metamorphoses* / October. 1986. Vol. 36. P. 22-28.
9. Кафка Ф. Исследования одной собаки / Кафка Ф. Малая проза. Драма. С. 283.
10. Там же. С. 285-286.